

A man in a black tuxedo and white shirt stands in front of an ornate, aged wooden door. The door has several glass panes, some of which are cracked or broken. A bright purple handprint is visible on the upper right pane. The man is looking down at his hands, which are clasped in front of him. The background is dark and textured, suggesting an old building.

*Дела-загадки детектива
Василия Всеволожского.
Книга 2*

Владимир Кожедеев

Исторические детективы

Владимир Кожедеев

**Дела-загадки детектива Василия
Всеволожского. Книга 2**

«Автор»

2026

Кожедеев В.

Дела-загадки детектива Василия Всеволожского. Книга 2 /
В. Кожедеев — «Автор», 2026 — (Исторические детективы)

Январь 1910 года. Петербург скован крещенскими морозами, Нева застыла, и по льду ходят пешком от Петроградской стороны до Васильевского острова. Но не лютый холод терзает город — другая стужа пробирает до костей. В Царском Селе при загадочных обстоятельствах исчезают молодые невесты — за три дня до венчания, не взяв ни обручальных колец, ни свадебных платьев. Полиция отмахивается: «Сбежали с любовниками». Но старые люди знают — пахнет здесь Тенью. Княгиня Ольга Хованская, пережившая кошмар родового имения, пишет письмо единственному, кому доверяет: частному детективу Василию Всеволожскому. «Найдите мою племянницу, — просит она. — Те, кто стоял за Елизаветой Павловной, не ушли. Они ждут». Всеволожский, едва оправившийся от предательства своего помощника Фомы, не может отказать старой знакомой. Он погружается в расследование, которое приведёт его на заснеженную Лиговку, в пустую квартиру с оплывшими свечами и картой, утыканной красными крестами. Он встретит женщину...

Содержание

Часть 3. "Дело о тени"	5
Глава 1. Чугунный мост	5
Глава 2. Квартира на Фонтанке	9
Глава 3. Слежка	12
Глава 4. Ночная прогулка	15
Глава 5. Другое дело	18
Глава 6. Тайная комната на Песках	21
Глава 7. Баронесса	25
Глава 8. Старый друг	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Дела-загадки детектива Василия Всеволожского. Книга 2

Часть 3. "Дело о тени"

Глава 1. Чугунный мост

Петербург в ноябре — это не город, а предчувствие конца. Не того, библейского, с трубами и всадниками, а обыкновенного, петербургского — когда небо давит так низко, что, кажется, можно достать рукой до рваных, свинцовых туч, а воздух становится густым, как кисель, и дышать им можно только с усилием, как будто каждый вдох — последний. Василий Всеволожский любил этот город и ненавидел его одновременно. Любил за то, что здесь каждая улица помнила чью-то судьбу, ненавидел — за то, что эти судьбы чаще всего кончались в воде, в подворотне или в долговой яме.

Лиговский проспект в такую погоду выглядел особенно уныло. Дождь шёл, не переставая — не тот весёлый, летний, после которого пахнет мокрой листвой и свежестью, а осенний, мелкий, въедливый, который пробирается под воротник, стекает за шиворот и заставляет кутаться в пальто, тщетно надеясь на тепло. Фонари горели тускло — газовые рожки едва освещали мостовую, и тени от редких прохожих ложились на мокрый асфальт длинными, искажёнными клексами, похожими на призраков.

Чугунный мост через Лиговский канал был стар — его чугунные перила, отлитые ещё при Николае Павловиче, покрылись ржавчиной и птичьим помётом, а мостовая давно просела, и в выбоинах стояла вода. Канал, узкий и чёрный, тянулся вдоль проспекта, как застывшая вена, в которой вместо крови текла мутная, дурно пахнущая жижа. Говорили, что в этом канале топили кошек и некрещёных младенцев. Говорили, что по ночам здесь можно встретить нечистую силу. Всеволожский не верил в нечистую силу. Он верил в людей — и в то, что люди способны на зло гораздо более страшное, чем любой призрак.

Дом 16 стоял у самого моста — старый, пятиэтажный, доходный, с облупившейся жёлтой штукатуркой и глубокими провалами окон, в которых не горел свет. Фасад его был когда-то украшен лепниной — амурчиками, гирляндами, женскими головками с распущенными волосами, — но теперь от этой красоты остались только осколки: у одного амурчика не хватало крыла, у другого — головы, гирлянды обвалились, обнажив голый кирпич, а женские головки походили на черепа, которых забыли убрать с поля битвы.

Всеволожский постоял на тротуаре, поднял воротник пальто, закурил папиросу. Табак горчил на языке, дым смешивался с дождём и уносился куда-то в сторону канала. В кармане пальто лежал чугунный ключ с инициалами «А.Х.» — тот самый, который дал ему Фогель. Ключ был тяжёлым, холодным, и Всеволожскому казалось, что он чувствует его тяжесть даже через плотное сукно.

«Анастасия Хованская, — подумал он. — Ты умерла сто лет назад, но твоя тень всё ещё бродит по этому городу. Что ты спрятала? Кого ты защищала? И почему я должен расплачиваться за твои тайны?»

Он не знал ответа. Знал только, что княгиня Шереметева, умирая, не солгала — она не умела лгать, даже когда ложь могла спасти ей жизнь. И если она сказала, что Тень перебралась в Петербург, значит, так оно и было.

Всеволожский уже собрался переходить мост, когда заметил его.

Человек стоял у мусорных баков — тех самых, чугунных, с выбитыми латинскими буквами «SPB», которые ставили по городу ещё при Александре Втором. Он был высоким, почти под два метра, но сутулым, как будто его плечи давила невидимая тяжесть. Плащ — чёрный, длинный, до пят — был накинут прямо на голое тело, под ним не виднелось ни сюртука, ни жилета. Руки, бледные, почти синие, шарили по бакам, вытаскивая какие-то тряпки, рассматривали их и бросали обратно.

Всеволожский замер. Что-то в этом человеке было неправильным — не в его одежде, не в его поведении, а в той тишине, которая его окружала. Дождь, казалось, переставал падать в радиусе трёх шагов от него. Тени не ложились на его лицо — оно оставалось в тени, даже когда над головой горел фонарь.

— Эй, — окликнул Всеволожский, делая шаг вперёд. — Вам помочь?

Человек замер. Не обернулся, не поднял головы — просто замер, как заводная игрушка, у которой кончился завод.

— Всеволожский, — сказал он глухим, почти механическим голосом. — Василий Петрович. Частный детектив. Литейный проспект, дом 18, квартира 3. — Он поднял голову, и Всеволожский увидел его лицо — бледное, восковое, с глубокими морщинами, которые складывались в странный, нечеловеческий узор. Глаза были светлыми, почти белыми, и в них не было ни зрачков, ни радужки — только пустота. — Уходите, Всеволожский. Они уже знают, что вы здесь. Они ждут. Они всегда ждут.

— Кто ждёт? — спросил Всеволожский, не отступая. — О ком вы говорите?

Человек не ответил. Он отвернулся, и плащ его — чёрный, длинный — взметнулся, как крыло исполинской птицы. Сделал шаг к каналу — и исчез. Просто растворился в воздухе, оставив после себя только запах — нафталин, сырость и что-то сладковато-гнилостное, как из старого склепа.

Всеволожский подошёл к тому месту, где только что стоял незнакомец. Ни следов, ни обрывков ткани, ни записок. Только мусорные баки, чугунные, холодные, с выбитыми буквами «SPB».

«Белая горячка, — подумал он. — Или очередная подстава. Или — он прав, и они действительно знают».

Он перешёл Чугунный мост, поднялся на крыльцо дома 16. Дверь была старой, дубовой, с бронзовым молотком в виде львиной головы. Всеволожский подёргал — закрыто. Тогда он достал связку отмычек (не браунингом же дверь взламывать) и принялся за работу.

Замок поддался на третьей попытке.

Внутри было темно. Свет с улицы едва пробивался сквозь запylённые стёкла, и Всеволожский вынужден был достать карманный фонарь — тот самый, с жестяным отражателем, который возил с собой ещё с тверских времён. Свет выхватил лестницу — широкую, с чугунными перилами, на которых когда-то были отлиты затейливые узоры, но теперь узоры забились грязью и паутиной. Лампочки не горели — кто-то выкрутил их или разбил. На стенах, там, куда падал свет, были видны надписи — неприличные, глупые, оставленные то ли дворниками, то ли пьяными жильцами.

Квартира, которую указала княгиня, была на четвёртом этаже, в конце коридора. Всеволожский поднялся медленно, держа фонарь перед собой и стараясь ступать бесшумно — хотя в этом доме, казалось, нельзя было ступить бесшумно, потому что каждая половица скрипела, каждая ступенька стонала под ногой.

Коридор на четвёртом этаже был узким, с низким потолком, который давил на плечи. Двери были старыми, оббитыми дерматином, с медными номерами, которые давно почернели. Квартира 16 — в самом конце, у стены, выходящей во двор.

Всеволожский постучал. Никто не ответил.

Постучал сильнее — та же тишина.

— Вам кого? — раздался голос за спиной.

Всеволожский обернулся, рука сама собой легла на карман, где лежал браунинг. В дверях соседней квартиры, приоткрыв дверь на цепочку, стояла старуха — маленькая, сгорбленная, в чёрном платке, с лицом, изрытым морщинами, как старая карта. Глаза её были мутными, но смотрели цепко — как смотрят люди, которые ничего не потеряли, кроме надежды.

— Мне нужны жилыцы из шестнадцатой, — сказал Всеволожский.

— А нет никого, — ответила старуха. — Третью неделю никто не открывает. Полиция приходила, дверь взламывали. Там пусто. Только бумаги какие-то на полу валяются. И ещё...

— Что ещё? — спросил Всеволожский.

— Тень, — прошептала старуха, крестясь широким крестом. — Я видела её. Ночью. Она стоит у окна, высокая, чёрная, прямая. И смотрит на мост. Я в полицию ходила, а они сказали — белая горячка. А я не пью, барин. И не курю. Я видела. Тень. Та самая, что по дому ходит уже сколько лет.

— Сколько лет? — переспросил Всеволожский.

— Да сколько себя помню, — ответила старуха. — Я здесь с 1890 года живу. Тогда она была. И сейчас есть. А говорят — призрак немца, который повесился на чердаке. Или девочки, которую утопили в канале. Я не знаю. Знаю только — она есть.

Всеволожский кивнул, поблагодарил старуху и повернулся к двери квартиры 16. Достал ключ — тот самый, чугунный, с инициалами «А.Х.» — вставил в замочную скважину. Замок щёлкнул, поддался, дверь открылась.

Квартира была маленькой — две комнаты, кухня, кладовка. Пустой, без мебели, без вещей. Обои кое-где отклеились, свисали со стен, как лохмотья. На полу, на истёртом паркете, валялись бумаги — видимо, те самые, о которых говорила старуха. Всеволожский нагнулся, поднял один лист. Пыльный, пожелтевший, с каллиграфическим почерком — тем самым, которым княгиня Шереметева писала свои письма.

«Многоуважаемый Василий Петрович!

Если вы читаете это — значит, я умерла. Или вы умерли. Или мы оба. Но я надеюсь, что первое.

Я не рассказала вам всего в «Красном Бору» ...»

Всеволожский читал, и с каждой строчкой сердце его сжималось всё сильнее. Княгиня знала о «Тени». Знала о Щербатове. Знала, куда ведут нити. И молчала — до самого конца, до последнего вздоха.

«Прощайте. Княгиня Екатерина Дмитриевна Шереметева».

Всеволожский сложил письмо, положил во внутренний карман пальто — туда же, где лежал чугунный ключ.

Он подошёл к окну. Окно выходило на Чугунный мост — тот самый, по которому он только что переходил. Вид был открыт: канал, чёрный, мутный; фонари, тускло горящие; дома на другой стороне — грязно-жёлтые, с пустыми глазницами окон. И тени — длинные, прямые, скользкие по мостовой.

Одна из них не двигалась.

Она стояла у перил моста, высокая, чёрная, неподвижная. И смотрела прямо на дом.

— Тень, — прошептал Всеволожский. — Они уже знают. Они ждут.

Он задернул занавеску, достал браунинг, проверил обойму. Патронов было шесть — хватит, чтобы отстреляться, если придётся. Но стрелять он не хотел. Не потому, что боялся — потому, что надеялся договориться.

Всеволожский вышел из квартиры, спустился по лестнице, вышел на улицу. Дождь всё так же моросил, фонари всё так же горели тускло.

У Чугунного моста никого не было.

Тень исчезла.

Всеволожский стоял на тротуаре, сжимая в кармане чугунный ключ, и думал о том, что княгиня была права: Тень не исчезла. Она переехала. И теперь он должен найти её — или она найдёт его.

Он повернулся и пошёл домой.

На Литейном, у дверей своей конторы, он вдруг остановился. В окне горел свет — но он помнил, что выключил лампу перед уходом. Фома ушёл в пять, и ключи от конторы были только у них двоих.

Всеволожский достал браунинг, снял с предохранителя, осторожно отпер дверь.

Внутри, в кресле у стола, сидела Надя.

Она была в его халате — слишком большом для неё, с засученными рукавами — и держала в руках чашку кофе. Увидев браунинг, она не испугалась, только усмехнулась:

— Вася, убери. Это я. Ждала тебя. Думала, ты уже пришёл.

— Я искал Тень, — сказал Всеволожский, пряча оружие.

— Нашёл?

— Пока нет. Но она знает, где я.

Надя поставила чашку, подошла к нему, посмотрела в глаза — долго, пристально, как смотрят на человека, которого боятся потерять.

— Вася, — сказала она. — Не лезь в это дело. Прошу тебя.

— Не могу, — ответил он. — Я должен.

— Знаю, — она вздохнула. — Поэтому я и жду тебя. Поэтому я всё ещё здесь.

Она обняла его — осторожно, не прижимаясь сильно, потому что знала, что он мокрый и грязный. Он положил голову ей на плечо — впервые за много лет — и закрыл глаза.

За окном моросил дождь.

Где-то на Чугунном мосту, у чугунных перил, стояла Тень.

И ждала.

Глава 2. Квартира на Фонтанке

Набережная Фонтанки в ноябре — это место, где время останавливается. Не потому, что здесь красиво или торжественно, а потому, что здесь слишком много прошлого — оно налипло на чугунные решётки мостов, пропитало стены домов, застыло в чёрной воде канала, которая течёт так медленно, что кажется, будто она не течёт вовсе. Всеволожский любил эту набережную в молодости, когда гулял здесь с Надей, ещё до свадьбы, когда мир казался понятным и устроенным. Теперь он шёл по ней один, под дождём, и чувствовал себя призраком, который вернулся в места, где когда-то был счастлив, и не узнаёт их.

Дом 72 стоял в глубине, за чахлыми деревьями, которые давно не видели садовника. Когда-то это был особняк — наверное, богатый, наверное, с колоннами и лепниной, с парадной лестницей и гостинными, где танцевали мазурку. Теперь от бывшей роскоши остались только стены — грязно-жёлтые, с облупившейся штукатуркой, и окна, заколоченные досками там, где жильцы не могли позволить себе стёкла. Доходный дом. Коммунальные квартиры. Общая кухня на двадцать комнат, один сортир на этаж, запах кошек и дешёвых щей, который въелся в стены так глубоко, что не выветрится никогда.

Всеволожский поднялся на крыльцо — ступени были выщерблены, перила шатались. Дверь оказалась незапертой — кто-то сломал замок, и теперь она держалась на одной петле, скрипя и раскачиваясь от ветра. Внутри было темно. Лампочки не горели — кто-то выкрутил их для экономии, или они перегорели ещё в прошлом веке, и никто не удосужился вставить новые. Всеволожский достал фонарь — тот самый, верный, с жестяным отражателем, — и луч света выхватил лестницу.

Лестница была широкой, когда-то парадной, с чугунными перилами, на которых были отлиты затейливые узоры — виноградные лозы, амуры, женские головы с распущенными волосами. Но теперь узоры забились грязью, чугун покрылся ржавчиной, и перила казались не украшением, а намёком — на то, что всё проходит, всё умирает, даже красота. Ступени были каменными, истёртыми миллионами ног — тут ходили баре, ходили купцы, ходили чиновники, ходили рабочие, ходили дети, которые давно состарились и, наверное, тоже умерли.

Всеволожский поднимался медленно, стараясь не шуметь — хотя в этом доме нельзя было ступить бесшумно, потому что каждая ступенька стонала под ногой, каждая площадка скрипела, как старая телега. На площадках стояли мусорные вёдра, чугунные, с выбитыми буквами «СПБ» — такие же, как у дома 16 на Лиговке. Из-за дверей доносились звуки — где-то плакал ребёнок, где-то ругались мужики, где-то играла гармошка, и хриплый, пьяный голос выводил: «Ах, зачем ты, моя радость, меня разлюбила...»

Квартира 41 была на четвёртом этаже, в самом конце коридора. Дверь — старая, дубовая, с бронзовым номером, который давно почернел — была приоткрыта. Не заперта. Приглашала войти. Или — предупреждала об опасности.

Всеволожский постоял секунду, прислушался. Тишина. Только ветер гудит где-то наверху, в чердачных провалах, и капает вода — то ли с крыши, то ли из прорванной трубы. Он толкнул дверь, перешагнул порог.

Квартира была маленькой — три комнаты, кухня, кладовка. Пустой. Совершенно пустой, как будто здесь никогда никто не жил. Ни мебели, ни вещей, ни даже обоев — только голые стены, крашенные когда-то в зелёный цвет, а теперь покрытые пятнами сырости и плесени. Паркет вздыбился, кое-где доски выпали, и в чёрные провалы было страшно смотреть — казалось, оттуда сейчас вылезет что-то нехорошее, мохнатое, с когтями.

Но странность была не в пустоте.

В центре самой большой комнаты, на полу, стояли свечи. Много свечей — десятка два, оплывших, с натёками воска, которые застыли в причудливые фигуры, похожие на плачущие

лица. Все свечи были зажжены — Всеволожский видел, как дрожат маленькие жёлтые язычки пламени, как они отбрасывают тени на стены, как тени эти шевелятся, будто живые. Между свечами стоял стол — простой, кухонный, покрытый клеёнкой, которая лопалась от времени и налипала на руки, если до неё дотронуться.

На столе лежала карта.

Не новая, не типографская — самодельная, склеенная из нескольких листов ватмана, с карандашными пометками, с флажками, с крестами и кружками. Всеволожский подошёл ближе, поднёс фонарь. Карта была старой — на ней были отмечены дома, которых уже нет, улицы, которые переименовали, каналы, которые засыпали. Но главное — кресты. Красные, нарисованные тушью или кровью — он не мог разобрать, да и не хотел.

Вот Лиговка, дом 16 — тот самый, где он был вчера. Красный крест, жирный, нарисованный с нажимом, как будто тот, кто ставил его, хотел продавить бумагу насквозь. Вот Пески — целое скопление крестов, десятков, не меньше. Вот Васильевский остров — три креста, на Малом проспекте, на Среднем, на набережной Макарова. И — вот оно. Литейный проспект, дом 18, его собственная контора.

Красный крест. Самый жирный. Самый страшный.

— Они знают, — прошептал Всеволожский. — Знают всё.

Он поднял глаза от карты. В дальнем углу комнаты, за свечами, что-то шевельнулось. Нетень — нетень была на стене, а здесь, в углу, было что-то тёмное, плотное, почти осязаемое. Всеволожский выхватил браунинг — не целясь, на рефлекс, так, как учили в сыском отделении: выхватывай, взводи курок, держи на уровне груди.

— Выходи, — сказал он. — Я вижу тебя.

Тёмное шевельнулось, отделилось от стены и шагнуло в круг света.

Это был человек. Высокий, худой, в чёрном сюртуке, который сидел на нём как на вешалке — плечи узкие, рукава длинные, пальцы торчат, как спицы. На лице — маска. Карнавальная, венецианская, с длинным, крючковатым носом, с чёрными прорезями для глаз, из которых смотрели живые, человеческие зрачки. Маска была старой — краска облупилась, у переносицы виднелась трещина, заклеенная сургучом.

— Здравствуйте, Василий Петрович, — сказал человек глухим, искажённым голосом. — Мы ждали вас раньше. Но вы пришли. Это главное.

— Кто вы? — спросил Всеволожский, не опуская оружия.

— Я — тот, кто знает правду о тени на старинном стекле, — ответил человек. — Тот, кто может рассказать вам, что на самом деле случилось с Анастасией Хованской. Тот, кто может открыть вам имя настоящего убийцы — не Карла Штольца, не его сына, не его внука, а того, кто стоит над всеми ними и тянет ниточки уже сто лет.

— Вы член «Тени»? — спросил Всеволожский.

Человек в маске засмеялся — тихо, безрадостно, как смеются над чужой глупостью.

— Я не член «Тени», — сказал он. — Я — слуга. Но слуга, который устал служить. И который хочет, чтобы эта история кончилась. Так же, как вы.

Он сделал шаг вперёд, и Всеволожский инстинктивно вскинул браунинг выше — на уровень головы.

— Не бойтесь, — сказал человек. — Я не причиню вам вреда. Если бы я хотел убить вас, вы бы уже были мертвы. Вчера, на Чугунном мосту. Или сегодня, у вашей конторы. Но вы живы. Потому что я не хочу вашей смерти. Я хочу правды.

— Какой правды?

— О том, кто убил Анастасию Хованскую. О том, кто создал «Тень». О том, кто стоит за всеми убийствами, за всеми подлогами, за всеми тайнами, которые вы распутывали в усадьбе Хованских и в Красном Бору. Тот же человек. Одна и та же нить. Имя, которое вы не найдёте ни в каких бумагах, потому что его вычеркнули из всех документов сто лет назад.

— Назовите это имя, — потребовал Всеволожский.

Человек в маске покачал головой.

— Не здесь, — сказал он. — Не сейчас. Стены здесь — не стены. У них есть уши. И глаза. Завтра. В полночь. Малая Нева, старая лесопилка. Приходите один. Без оружия. Без помощников. Без Фомы. Без Нади. Если придёте с кем-то — я не появлюсь. И вы никогда не узнаете правду.

— Почему я должен верить вам? — спросил Всеволожский.

— Потому что, — ответил человек, отступая назад, в темноту, — я единственный, кто знает, почему вы ошиблись в деле Соболева. Не фабрикант Калитин. Не князь Щербатов. Я. Я подставил невиновного. Я написал то письмо. Я нанял лжесвидетелей. И я могу рассказать вам, кто мне заплатил. Если вы придёте.

Он исчез. Просто растворился в темноте, как тот странный человек у мусорных баков на Лиговке. Только запах остался — нафталин, сырость, и что-то сладковато-гнилостное, как из старого склепа.

Всеволожский опустил браунинг. Рука его дрожала — не от страха, от злости. От бессилия. От того, что правда была так близко — и так далеко одновременно.

Он подошёл к столу, смахнул свечи, скатал карту. Карта была нужна — на ней были отмечены все адреса, все тайные места, все логова «Тени». Он спрятал её во внутренний карман пальто — туда же, где лежал чугунный ключ Анастасии Хованской и письмо княгини Шереметевой.

Потом вышел из квартиры, спустился по лестнице, вышел на набережную.

Дождь всё шёл. Фонари горели тускло. Фонтанка, чёрная, мутная, текла куда-то в сторону Невы, в сторону залива, в сторону моря — в сторону свободы, которой у Всеволожского не было и, наверное, никогда не будет.

Он посмотрел на часы — цепочку серебряную, с гравировкой «За усердие». Было половина десятого вечера.

До полуночи оставалось больше суток.

Целая вечность.

И всего один шаг — до правды, которая может его убить.

Он пошёл домой. На Литейный. К Наде, которая ждала его с кофе.

И думал о том, что, наверное, она снова будет плакать, когда узнает, куда он собирается.

Но он всё равно пойдёт.

Потому что не мог иначе.

Глава 3. Слежка

Всеволожский заметил их на второй день после посещения квартиры на Фонтанке. Он возвращался от Белова — старого пристава, который принял его в кабинете на Большой Морской, но ничего утешительного не сказал, — и уже на подходе к Литейному почувствовал спитой тот особенный, ледяной взгляд, который невозможно спутать ни с чем. Не любопытство прохожего, не рассеянный взгляд зазевавшегося обывателя — прицельный, плотный, профессиональный. Всеволожский знал этот взгляд, потому что сам смотрел так на подозреваемых. Значит, теперь смотрели на него.

Он не обернулся. Не ускорил шаг. Не полез в карман за браунингом. Шёл ровно, как шёл всегда, — размеренно, чуть сутулясь, опустив голову, чтобы козырёк кепки скрывал лицо от уличных фонарей. Но краем глаза, боковым зрением, которое он натренировал за годы сыска лучше любого снайпера, он видел их. Двое. В чёрных пальто — длинных, дорогих, не по погоде лёгких, как будто их обладатели не чувствовали холода. Шли на расстоянии двадцати шагов, держась теневой стороны, синхронно, как механические куклы.

На углу Литейного и Невского Всеволожский резко свернул в арку, проскочил через двор, выскочил на параллельную улицу и затаился в подворотне. Через минуту они появились — растерянные, озирающиеся, потерявшие цель. И тогда он увидел их лица. Одинаковые. Как у близнецов. Те же острые скулы, те же глубоко посаженные глаза, те же тонкие, бескровные губы. Только один был чуть выше ростом, а другой — чуть шире в плечах, но издали их можно было перепутать. Или — так и было задумано.

Всеволожский выждал, пока они уйдут, и двинулся к конторе другим путём — через Симеоновскую, мимо Владимирской церкви, дворами. Но они уже ждали его у подъезда. Стояли под фонарём, курили, и дым от их папирос поднимался вверх прямыми, неподвижными столбами — ветра не было, и город замер в предзимней, гнетущей тишине.

— Добрый вечер, господин Всеволожский, — сказал тот, что повыше, когда детектив поравнялся с ним. Голос — скрипучий, без интонаций, как у чтеца, который зачитался и забыл, что текст должен трогать душу. — Поздний час для прогулок.

— А для стояния под чужими окнами? — ответил Всеволожский, не останавливаясь. — Не поздний?

— Мы никого не ждём, — сказал второй, тот, что пошире. — Мы просто дышим воздухом. Петербургский воздух, знаете ли, полезен для здоровья.

— Особенно когда идёт снег? — спросил Всеволожский, кивнув на небо, с которого начала сыпать мелкая, колючая крупа.

— Особенно тогда, — согласился первый.

Всеволожский открыл дверь, шагнул в подъезд и захлопнул её перед носами близнецов. Но даже сквозь матовое стекло видел: они не ушли. Стояли, курили, смотрели.

На следующий день они появились у больницы, где лежала Надя.

Всеволожский пришёл навестить её после обеда — принёс цветы (хризантемы, жёлтые, осенние), апельсины, завернутые в вощёную бумагу, и книгу — роман Тургенева «Дворянское гнездо», который она любила ещё в молодости. Надя была уже лучше — рана затягивалась, врачи обещали выписать через неделю, и она даже шутила, что, может быть, встанет на ноги раньше, чем её бывший муж попадёт в очередную передрагу.

Она шутила, но глаза её были серьёзными, и Всеволожский знал почему. Она боялась. Не за себя — за него. И когда он поцеловал её в лоб и вышел на больничное крыльцо, он увидел их. Стояли у чугунной ограды, на той стороне улицы, и смотрели. Не на больницу — на него. Близнецы. Те же пальто, те же лица, та же синхронная неподвижность.

Всеволожский подошёл к ним. Остановился в трёх шагах.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Чтобы вы уехали из Петербурга, — ответил тот, что повыше.

— Навсегда, — добавил тот, что пошире.

— А если я откажусь?

— Тогда мы будем встречаться чаще, — сказал первый.

— Нам это не трудно, — сказал второй. — Нам платят.

— Кто платит?

— Тот, кто не хочет, чтобы вы искали правду, — ответили они хором, и в голосах их не было ни угрозы, ни насмешки — только тупая, механическая констатация факта, как у часового механизма, который заведён и будет тикать, пока не сломается.

Всеволожский сжал кулаки, но не ударил. Не потому, что боялся — потому, что понимал: они только исполнители. Ударь он одного — придут четверо. Убей он двоих — придут десять. И Надя будет в опасности, и Фома, и те, кто хоть как-то связан с ним. А он не хотел больше рисковать чужими жизнями. Своей — сколько угодно. Но не их.

Он развернулся и ушёл. Близнецы не пошли за ним — остались у ограды, провожая его взглядами, как провожают приговорённого к казни, когда тот идёт на эшафот.

Вечером Всеволожский позвонил Белову.

Аппарат в сыском отделении был старым, немецким, с медной трубкой и трещоткой вместо звонка. Всеволожский накрутил ручку, подождал, пока на том конце ответят. Голос Белова был глухим, усталым — видно, день выдался тяжёлый.

— Пал Палыч, это я, — сказал Всеволожский.

— Василий? — Белов оживился, но ненадолго — тут же голос его снова стал осторожным, как у человека, который боится, что его подслушивают. — Ты по делу? Или просто позвонил?

— По делу. «Тень». Я знаю, что ты знаешь о ней. Скажи мне, кто они. Кто за ними стоит. Как их найти.

Белов молчал. Так долго, что Всеволожский уже подумал: не обойдётся ли, не положит ли трубку. Но старый пристав заговорил — тихо, почти шёпотом, как на исповеди:

— Василий, оставь это. Не лезь. Тебя убьют, и никто не спросит. Даже я не смогу тебя защитить. У них покровители — выше, чем ты можешь себе представить. Генералы, министры, может быть, даже кто-то из императорской фамилии. Я не знаю точно, но догадываюсь. И если я начну копать — меня сотрут в порошок. Тебя — тоже.

— Значит, ты знаешь, кто они, — сказал Всеволожский. — Знаешь, но молчишь.

— Я защищаю себя, — ответил Белов. — И тебя заодно. Если хочешь жить — уезжай из Петербурга. В Москву, в Киев, в деревню. Куда угодно. Забудь про «Тень». Забудь про Анастасию Хованскую. Забудь про княгиню Шереметеву. Они мертвы. И ты будешь мёртв, если не остановишься.

— А те, кто ещё жив? — спросил Всеволожский. — Те, кого они убьют завтра, послезавтра, через неделю? Мне тоже забыть про них?

— Ты не бог, Василий, — устало сказал Белов. — Ты сыщик. Твоё дело — находить воров и убийц. А не спасать мир.

— А если убийца — сам мир? — спросил Всеволожский.

Белов не ответил. В трубке зашипело, затрещало — связь прервалась, или он сам положил трубку. Всеволожский нажал на рычаг, подождал, накрутил ручку снова. Молчание. Абонент не отвечал.

Он повесил трубку.

Впервые в жизни он остался совсем один. Без союзников. Без поддержки. Без надежды на чью-либо помощь. Фома — хороший помощник, но не боец. Надя — женщина, которую

он уже подставил один раз. Белов — друг, но друг, который боится. Да и что он мог сделать? Пойти против генералов и министров с одним браунингом и связкой отмычек?

Всеволожский подошёл к окну, выглянул на улицу. Они стояли у фонаря. Ждали. Курили. Идиоты, которые не чувствуют холода.

«Близнецы, — подумал он. — Может, и не близнецы вовсе. Может, просто два человека с одинаковыми лицами, которых наняли, чтобы запугать меня. Или — убить. Но если бы они хотели убить, они бы уже убили. На мосту. В подворотне. У больницы. Значит, им ведено только наблюдать. И — передавать. Кому? Тем, кто выше. Тем, кто сидит в тени и ждёт».

Он вспомнил человека в маске — венецианской, с длинным носом. «Приходите завтра в полночь на Малую Неву, к старой лесопилке. Приходите один». Завтра — это сегодня. Полночь — через два часа.

Всеволожский взял со стола браунинг, проверил обойму. Пять патронов — хватит. Потом положил оружие обратно. Человек в маске сказал: без оружия. Значит, пойдёт без оружия. Не потому, что верит ему — потому, что другого выхода нет.

Он надел пальто, вышел в коридор, спустился по лестнице. Близнецы у фонаря смотрели на него, но не двинулись с места.

— Я иду на встречу, — сказал он им. — Можете не докладывать. Они уже знают.

Он свернул на Литейный, потом на Шпалерную, потом на набережную. И пошёл к Малой Неве — через мост, через пустынные улицы, через тишину, которая сгушалась с каждым шагом, как туман над болотом.

В кармане его пальто лежали чугунный ключ Анастасии Хованской, письмо княгини Шереметевой и скатанная в трубку карта с красными крестами. И больше — ничего. Ни надежды, ни страха, ни веры.

Только холодная, злая решимость.

Он узнает правду.

Даже если она убьёт его.

Глава 4. Ночная прогулка

Малая Нева в ноябре — это не река, а чёрная, маслянистая жижа, которая течёт так медленно, что кажется, будто она стоит на месте, застыла, умерла. Берега её пустынные — ни гуляющих, ни извозчиков, ни даже бродяг, потому что бродяги предпочитают более тёплые места, у труб с горячей водой или у хлебных развалов. Здесь же — только ветер, только холод, только гудки пароходов с Большой Невы, которые доносятся приглушённо, как будто из другого мира, из той жизни, где ещё есть тепло и люди.

Всеволожский шёл по набережной уже сорок минут. Он пересёк Литейный мост, миновал Петроградскую сторону, вышел к Малой Неве там, где она отделяется от Большой, и двинулся вверх по течению — к лесопилке, которую указал человек в маске. Дорога была плохой — булыжник выщерблен, кое-где зияли провалы, в которых стояла вода, смешанная с грязью и конским навозом. Фонарей почти не было, и Всеволожский шёл почти на ощупь, освещая путь карманным фонарём — тем самым, старым, с жестяным отражателем, который он возил с собой ещё с тверских времён. Свет выхватывал из темноты стены заброшенных складов, штабеля гнилых досок, ржавые рельсы, уходящие в никуда.

Лесопилка стояла на самом берегу — огромное, тёмное здание из красного кирпича, с выбитыми окнами и провалившейся крышей, которая местами обрушилась, открывая небо — серое, низкое, с редкими звёздами, которые казались не живыми огнями, а заплатками на саване. Запах здесь стоял такой, что перехватывало дыхание: гнилые опилки, пресная вода, тина, и ещё что-то химическое, удушливое, может быть, креозот, которым пропитывали шпалы.

Всеволожский остановился в двадцати шагах от входа. Прислушался. Тишина. Только вода плещется о сваи, да где-то вдалеке лает собака — не злобно, а тоскливо, как будто она тоже потеряла кого-то и не может найти.

«Они здесь, — подумал он. — Чувствую. Или — нет, и я зря пришёл».

Он полез в карман, достал браунинг. Взял курок. Человек в маске сказал: «Приходите один. Без оружия». Он пришёл один. Но без оружия — нет. Не потому, что не доверял, а потому, что доверие в его профессии стоило дороже, чем жизнь. Он уже один раз доверился — в деле Соболева — и посадил невинного. Второй раз не доверится никому.

Браунинг был тяжёлым, холодным, и эта тяжесть успокаивала. Всеволожский сунул его в карман пальто — не в кобуру, а так, чтобы можно было выхватить в одно движение. И пошёл к дверям.

Двери были распахнуты — одна висела на одной петле, другая лежала на земле, втоптанная в грязь. Всеволожский перешагнул порог и оказался внутри.

Темнота здесь была не просто темнотой — она была плотной, вязкой, как дёготь. Фонарь выхватывал куски пространства: ржавые механизмы, груды досок, бетонные столбы, покрытые многолетней копотью. В центре цеха, там, где когда-то стояла пила, зияла пустота — только чёрное пятно на полу, маслянистое, как пролитая кровь.

— Я пришёл, — сказал Всеволожский в пустоту. — Где вы?

Тишина. Потом — шорох. Слева. За штабелем досок. Всеволожский повернулся, направил фонарь.

Никого.

Шорох повторился — справа. Он повернулся — никого.

Третий шорох — сзади. Всеволожский хотел обернуться, но не успел. Удар пришёлся по руке, выбив фонарь. Стекло разбилось, керосин разлился по полу, вспыхнул — на секунду, не больше, — и погас, оставив после себя только запах гари и короткую вспышку, в которой Всеволожский успел увидеть их. Четверо. В чёрных пальто. С лицами, которых он не разглядел.

Второй удар пришёлся в спину — между лопаток, так, что перехватило дыхание. Всеволожский упал на колени, но не выпустил браунинг — успел выхватить, взвести курок, выстрелить. Пуля ушла в темноту, никого не задев — судя по звуку, она впилась в бетонный столб и рассыпалась, взвизгнув металлическим осколком.

Его ударили по руке — браунинг отлетел в сторону, заскрежетал по бетонному полу и затих где-то в углу. Потом ударили по лицу — кулаком, тяжёлым, с кастетом или без, он не понял, но почувствовал вкус крови на губах, солёный, медный. Потом по рёбрам, потом по почкам. Всеволожский свернулся клубком, закрывая голову руками, но они били и били — молча, методично, как палачи, у которых давно не осталось ни жалости, ни злости, только работа.

— Хватит, — сказал голос из темноты. Не тот, который говорил с ним в квартире на Фонтанке. Другой — более низкий, властный, с хрипотцой, как у человека, который много курит и много приказывает.

Удары прекратились.

Всеволожский лежал на полу, на мокрых опилках, чувствуя, как кровь течёт из разбитой брови, заливает глаз, капает на бетон. Он слышал их дыхание — четырёх человек в чёрных пальто — и ещё чьё-то, пятое, которое было дальше. Там, в глубине цеха.

— Поднимите его, — велел голос.

Сильные руки схватили Всеволожского под мышки, поставили на ноги. Он шатался, ноги не слушались, но он стоял. Не падал. Не просил пощады.

Из темноты вышел человек. Он был высоким — выше всех остальных, — в длинном чёрном плаще, с надвинутым на лицо капюшоном. Лица не было видно — только тень. Но Всеволожский знал, что это не тот, кто говорил с ним в квартире. Голос — другой. И аура — другая. Более старая. Более злая. Более опасная.

— Ты пришёл, — сказал человек. — Я не думал, что ты такой дурак.

— Я детектив, — ответил Всеволожский, выплёвывая кровь на пол. — Дураки работают в полиции.

Человек хмыкнул — не то усмехнулся, не то просто выдохнул.

— Мы дали тебе шанс, Всеволожский. Уехать. Забыть. Жить. Ты не воспользовался. Теперь мы даём тебе второй. Последний.

— Что вы хотите? — спросил Всеволожский.

— Чтобы ты прекратил расследование. Чтобы ты забыл про «Тень». Чтобы ты забыл про Анастасию Хованскую. Чтобы ты забыл про Шереметевых. И чтобы ты уехал из Петербурга. Навсегда.

— А если я откажусь?

— Тогда, — человек сделал шаг вперёд, и Всеволожский увидел его лицо — бледное, морщинистое, с глубокими тенями под глазами, с тонкими, бескровными губами, — тогда ты умрёшь. Не сегодня. Не завтра. Но скоро. И никто не придёт на твои похороны. Потому что некому будет прийти. Твою бывшую жену мы уже достали. Твоего помощника — достанем. Твоего старого друга Белова — заставят замолчать. И ты будешь лежать в сырой земле, и никто не вспомнит твоего имени. Такая работа, Всеволожский. Такие правила.

Всеволожский молчал. Смотрел в глаза этому человеку — серые, холодные, пустые, как зимняя Нева, — и думал о том, что он прав. Правила такие. Или ты убиваешь правду, или правда убивает тебя.

— Я не уеду, — сказал он.

Человек вздохнул — устало, как будто ждал этого ответа и надеялся на другой.

— Тогда живи с этим, — сказал он.

Повернулся и ушёл в темноту. Четверо в чёрных пальто — за ним. Шаги затихли, растворились в шуме ветра и плеске воды.

Всеволожский остался один.

Он постоял, отдышался. Ощупал рёбра — кажется, целы. Повернул голову — шея двигалась, больно, но терпимо. Пошарил рукой по полу, нашёл браунинг, сунул в карман. Потом нашёл фонарь — разбитый, бесполезный, — и отбросил в сторону.

Он вышел из лесопилки, шатаясь, держась за стены, и побрёл к городу.

Дождь усилился. Холод пробирал до костей. В кармане лежал чугунный ключ Анастасии Хованской, письмо княгини Шереметевой, скатанная в трубку карта с красными крестами — и больше ничего. Ни денег, ни документов, ни даже спичек, чтобы закурить.

Он шёл по набережной, мимо пустынных складов, мимо заколоченных домов, мимо фонарей, которые давно погасли, и думал о том, что Надя, наверное, ждёт его с кофе. Будет плакать, когда увидит его лицо. Будет звать врача. Будет клясть его за то, что он не умеет беречь себя.

Он знал: она права. Он не умеет беречь себя. Ни себя, ни других. Он умеет только искать правду — и находить её, когда уже поздно.

Чугунный мост через Малую Неву был старым — перила чугунные, с отлитыми амурами, у которых не хватало крыльев и голов. Всеволожский остановился на середине, посмотрел на воду. Чёрную. Холодную. Быструю.

«Анастасия Хованская, — подумал он. — Ты утопилась здесь? Или тебя утопили? Я узнаю. Я всё узнаю».

Он пошёл дальше.

А сзади, на том берегу, у самого края воды, стояла Тень. Высокая. Чёрная. Прямая. И смотрела ему вслед, пока он не скрылся в темноте.

Глава 5. Другое дело

На следующее утро Всеволожский проснулся от того, что не мог открыть левый глаз. Веко распухло, заплыло сине-багровой массой, и сквозь узкую щель пробивался только мутный, рассеянный свет — тот самый, ноябрьский, петербургский, который не греет, а только напоминает о том, что зима близко, а тепла не будет ещё долго. Он лежал на диване в кабинете — Надя отвоевала спальню, и он не спорил, потому что знал: ей нужно восстанавливаться, а ему — привыкать к одиночеству, которое уже не казалось таким привычным, как раньше.

Голова гудела. Рёбра ныли при каждом вдохе. На губе запеклась кровь, и когда Всеволожский провёл по ней языком, он почувствовал солоноватый, металлический привкус — вкус вчерашней драки, вкус поражения, которое он не признавал, но которое сидело в нём глубоко, как заноза, которую нельзя вытащить, не разрезав кожу.

— Вася? — раздался голос из соседней комнаты. Надя, наверное, услышала, что он завопил. — Ты встал?

— Почти, — ответил он, садясь на диване. Простыня сползла, открывая синяки на груди — жёлтые, зелёные, фиолетовые, как карта неведомой страны, в которую он не хотел бы эмигрировать. — Какой час?

— Девятый. Фома уже пришёл, ждёт внизу. И там... там какая-то женщина. В шубе. Дорогой. Сказала, что по очень срочному делу.

Всеволожский вздохнул, потёр лицо здоровой рукой. Женщина в дорогой шубе, которая приходит в девять утра, когда нормальные люди ещё пьют кофе и читают газеты, — это или беда, или деньги. Чаще всего — и то, и другое вместе.

— Передай Фоме, чтобы проводил её наверх. И скажи, что я... — он посмотрел на себя в маленькое зеркало, висевшее на стене, и поморщился. — Скажи, что я выгляжу не лучшим образом, но жив и готов работать.

Надя хмыкнула, но ничего не сказала. Она уже привыкла к его разбитым лицам и мятым костюмам — привыкла ещё в те времена, когда они были женаты, и думала, что после развода это кончится. Не кончилось. И, наверное, уже не кончится никогда.

Фома впустил женщину в кабинет ровно в девять пятнадцать. Всеволожский успел надеть чистую рубашку (белую, крахмальную, которая неприятно терлась о ссадины на спине), застегнуть жилет и причесаться — насколько это было возможно с распухшим лицом. Синяки он не скрывал — всё равно не скроешь, а притворяться, что их нет, было бы глупо.

Женщина вошла, и Всеволожский сразу понял, что ошибся в ней. Он думал — богатая аристократка, из тех, что приезжают к сыщикам в каретах с гербами и требуют, чтобы им подали чай с лимоном. Но эта была другой. Высокая, стройная, с тёмными волосами, уложенными в тяжёлый пучёк на затылке, с глазами цвета зимней Невы — серыми, холодными, но с каким-то внутренним огнём, который она тщательно прятала за маской светской любезности. Шуба была дорогой — соболь, тёмно-коричневый, с серебристой искрой, — но носила её женщина так, как носят рабочую одежду: небрежно, как будто не замечая цены.

— Господин Всеволожский? — спросила она, чуть наклонив голову. Голос у неё был низким, с лёгкой хрипотцой — голос женщины, которая много курит или много плачет. — Меня зовут Елена Сергеевна фон Шток. Я баронесса. Мой брат... мой брат пропал.

— Садитесь, — Всеволожский указал на стул напротив. — И рассказывайте. Подробно. Без пропусков.

Баронесса села, положила руки на стол — перчатки сняла, и Всеволожский увидел её пальцы: длинные, тонкие, без колец, с идеальным маникюром. Только на безымянном правой руки — едва заметный шрам, старый, давно заживший.

— Моего брата зовут Александр Сергеевич фон Шток, — начала она. — Он поручик лейб-гвардии Преображенского полка. Неделью назад он ушёл из дома и не вернулся. Я обратилась в полицию, но они... они не хотят заниматься.

— Почему? — спросил Всеволожский.

— Потому что взрослый мужчина имеет право исчезнуть, если хочет, — горько усмехнулась баронесса. — Так сказал пристав. Добавил, что у моего брата есть долги — карточные, — и что он, наверное, уехал за границу, чтобы скрыться от кредиторов. Но это неправда. Александр не картёжник. Он не пьёт. Он — офицер, господин Всеволожский. Офицер не бросает полк. Не бросает сестру. Не исчезает просто так.

— Вы уверены, что он не мог уехать без предупреждения?

— Абсолютно. — Баронесса выпрямилась, и в её глазах мелькнуло что-то — не страх, но близко к тому. — За день до исчезновения он говорил со мной. Он был взволнован. Сказал, что узнал какую-то тайну. Сказал, что если с ним что-то случится, я должна обратиться к вам.

— Ко мне? — удивился Всеволожский. — Почему ко мне?

— Он назвал ваше имя. Сказал: «Если я пропаду, найди частного детектива Всеволожского. Он один не боится Тени».

Всеволожский замер. Слово «Тень» прозвучало в его кабинете, как выстрел. Он посмотрел на баронессу — она смотрела на него в упор, и в её глазах не было ни игры, ни притворства. Только боль. И надежда.

— Ваш брат, — медленно сказал Всеволожский, — служил вместе с князем Щербатовым?

Баронесса побледнела. Побледнела так, что её лицо стало цвета старого пергамента, и веснушки — несколько штук на переносице, почти незаметные — выступили ярко, как ожоги.

— Откуда вы знаете про Щербатова? — прошептала она.

— Потому что я расследовал его дело, — ответил Всеволожский. — В Твери. Он убил князя Шереметева. Или — заказал убийство. Я до сих пор не знаю точно. Но знаю, что он был членом тайного общества. Того самого, которое называют «Тень».

— Александр говорил о них, — сказала баронесса. — Он говорил, что его заставляют делать страшные вещи. Что он не может отказаться, потому что тогда убьют его — или меня. Он хотел уйти из полка. Подать рапорт. Но командир сказал: «Поздно, поручик. Ты знаешь слишком много».

— Где он был в последний раз? — спросил Всеволожский, беря блокнот.

— В казарме. А потом — поехал на Петроградскую сторону. К кому — не сказал. Но я узнала: он встречался с человеком, который живёт на Малой Невой, у старой лесопилки.

Всеволожский внутренне сжался. Лесопилка. Та самая, где его избили вчера. Значит, не случайно. Значит, нити сходятся там.

— Я возьмусь за это дело, — сказал он, закрывая блокнот. — Но вы должны рассказать мне всё. Всё, что знаете о брате. О его друзьях. О его тайнах. О «Тени». Если утаите хотя бы слово — я ничего не смогу сделать. И ваш брат, если он ещё жив, умрёт.

— Я не утаю, — ответила баронесса, и в её голосе зазвенела сталь. — Я хочу, чтобы он вернулся. И я заплачу любые деньги.

— Дело не в деньгах, — сказал Всеволожский. — Дело в правде.

Он встал, подошёл к окну. На Литейном, как всегда, былолюдно. Извозчики, чиновники, торговли с корзинами. И двое — в чёрных пальто. Близнецы. Они стояли у фонаря и курили. Они всегда стояли у фонаря и курили.

— Баронесса, — сказал Всеволожский, не оборачиваясь. — Вы знаете, что за вами тоже следят?

— Знаю, — ответила она. — Поэтому и пришла к вам. Больше не к кому.

Всеволожский повернулся, посмотрел на неё долгим, тяжёлым взглядом.

— Тогда будем действовать вместе, — сказал он. — Сначала я найду вашего брата. Потом — уничтожу «Тень». Не обещаю, что останусь жив. Но обещаю, что сделаю всё возможное.

Баронесса встала, протянула руку. Он пожал её — ладонь была холодной, но твёрдой.

— Спасибо, — сказала она. — Я верю вам.

Она вышла. Фома проводил её до дверей, потом вернулся, почесал затылок.

— Василий Петрович, — спросил он, — а это не опасно? Баронесса эта. Может, она сама из них? Заслали, чтобы вы не туда копали?

— Может, — согласился Всеволожский. — Но копать я буду туда, куда надо. Даже если меня засыплет.

Он сел за стол, раскрыл блокнот, написал:

«Александр фон Шток, поручик Преображенского полка. Исчез неделю назад. Связан с Щербатовым. Связан с «Тенью». Последний раз видели на Петроградской стороне, у лесопилки на Малой Неве».

Он подчеркнул слово «лесопилка» дважды, потом закрыл блокнот и посмотрел в окно.

Близнецы всё ещё стояли у фонаря.

Но теперь — их было трое.

Третий стоял чуть поодаль, в длинном чёрном плаще, с надвинутым на лицо капюшоном. Всеволожский узнал его. Тот самый, с лесопилки. Тот, кто дал ему второй шанс.

«Или не второй, — подумал Всеволожский. — А последний».

Он достал браунинг, проверил обойму — шесть патронов, как вчера. Хватит ли? На троих? На десятерых? На всю «Тень»?

Он не знал. Но знал, что отступать некуда.

— Фома, — сказал он. — Принеси-ка мне кофе. Покрепче. И вкрути новую лампочку в прихожей. Скоро у нас будет много работы.

Фома кивнул и вышел.

Всеволожский остался один.

За окном моросил дождь.

И тени стояли у фонаря и ждали.

Глава 6. Тайная комната на Песках

Пески — это не название, а состояние души. Район между Лиговкой и Невой, застроенный доходными домами и складами, где селятся те, кому не хватило места в парадных Петербурга: бедные студенты, проститутки, отставные солдаты, мелкие чиновники, которые проигрывали жалованье в карты и теперь снимают углы за десять рублей в месяц. Здесь пахнет капустным супом, дешёвым табаком и ещё чем-то кислым, въедливым, что проникает в поры и остаётся там навсегда, как память о том, что счастье — оно не для всех.

Всеволожский приехал сюда на извозчике, отпустив его за два квартала до нужного дома — не хотел, чтобы кто-то запомнил номер пролётки и маршрут. Близнецы, которых он стряхнул с хвоста ещё на Литейном (хитрый манёвр через дворы и подворотни, которым научил его старый вор, когда они вместе ловили банду с Мойки), могли появиться в любую минуту, и ему нужно было время — час, два, может быть, три, — чтобы осмотреть квартиру Александра фон Штока до того, как её «уберут».

Дом был старым, пятиэтажным, из красного кирпича, с облупившейся штукатуркой и глубокими провалами окон, затянутых грязными тряпками вместо стёкол. Парадной лестницы не было — только чёрный ход, заваленный мусором, с пандусом, по которому когда-то вкатывали бочки с квашеной капустой. Всеволожский поднялся на третий этаж, нашёл дверь с номером 17, постучал. Тишина. Постучал ещё раз — та же тишина.

Он достал отмычки — связку, которой пользовался редко, предпочитая договариваться с жильцами по-хорошему, но сейчас было не до переговоров. Замок поддался на третьей попытке — старый, сувальдный, с бородкой, которая давно сточилась. Дверь открылась, и Всеволожский перешагнул порог.

Квартира была маленькой — две комнаты, кухня, кладовка. Обставлена бедно, но чисто: кровать с железной спинкой, стол, стул, платяной шкаф — единственная дорогая вещь в этой комнате, из карельской берёзы, с резными ножками и бронзовыми ручками. На столе — стопка книг: уставы, уложения, «История лейб-гвардии Преображенского полка» в потрёпанном переплёте. На подоконнике — горшок с засохшей геранью. В углу — сапоги, начищенные до блеска, хотя их хозяин уже неделю не возвращался.

Всеволожский прошёл в спальню. Кровать была аккуратно застелена — белая простыня, серая шерстяная шинель вместо одеяла. На тумбочке — фотография в дешёвой рамке: женщина, не баронесса, другая, с простым, крестьянским лицом, в платке, держащая на руках ребёнка. Сестра? Жена? Любовница? Всеволожский перевернул рамку — на обратной стороне была надпись карандашом: «Маша, 1907. Люблю. Саша».

Он положил фотографию на место и принялся обыскивать комнату. Систематически. Профессионально. Как учили в сыском отделении: сначала стены, потом пол, потом потолок, потом мебель. Ничего. Пустота. Слишком чисто для квартиры холостого офицера. Слишком прибрано. Как будто кто-то прошёлся здесь перед ним и забрал всё, что могло бы привести на след.

Но Всеволожский знал: идеальных преступлений не бывает. Бывают плохие сыщики. А он был не из таких.

— Шкаф, — прошептал он, поворачиваясь к платяному шкафу. — Ты слишком дорог для этой комнаты. И слишком стар. И слишком... другой.

Он подошёл к шкафу, открыл дверцы. Внутри — несколько мундиров, аккуратно развешанных на плечиках, пара штатских сюртуков, бельё, стопка чистых носовых платков. Всё пахло нафталином — старым, едким, как в лавке старьевщика.

Всеволожский выдвинул ящики — нижнее бельё, носки, запонки, несколько медалей, свёрнутых в трубочку писем (от баронессы, тёплые, заботливые, с вопросами о здоровье и деньгах). Ничего. Ни намёка на тайную жизнь. Ни следа «Тени».

Он уже хотел отойти, когда заметил то, что упустил в первый раз. Шкаф стоял не у стены — он стоял на полвершка от стены. И этот зазор был слишком равномерным, как будто шкаф не придвинули к стене, а наоборот — отодвинули. Чтобы пролезть. Или спрятать что-то.

Всеволожский налег плечом на шкаф, сдвинул его в сторону. Заскрипели половицы, где-то внизу, на первом этаже, кто-то закашлял — старик, наверное, с чахоткой, — но звук был далёким, неопасным. Шкаф отъехал, открывая стену — голую, оштукатуренную, с неровностями и трещинами.

Одна из трещин была слишком прямой.

Всеволожский провёл пальцем по штукатурке — она осыпалась, открывая углубление. Ниша. Квадратная, размером с почтовый конверт. В нише — тетрадь. Старая, общая, в чёрном коленкоровом переплёте, потёртая по углам, со следами чернильных пятен на обложке.

Всеволожский достал тетрадь, открыл. Страницы были вырваны — не все, только несколько, от середины к концу. Аккуратно вырваны, не наспех — ножницами или лезвием бритвы. Оставшиеся листы были заполнены убористым, нервным почерком, с наклоном влево — почерком человека, который писал быстро, боясь, что кто-то застанет его за этим занятием.

Всеволожский сел на пол, прислонился спиной к шкафу, поднёс тетрадь ближе к глазам. Света было мало, но он уже знал эти строчки наизусть — перечитывал их снова и снова, пока они не начинали расплываться перед глазами.

«Я, Александр Сергеевич фон Шток, поручик лейб-гвардии Преображенского полка, начинаю этот дневник не для того, чтобы меня потом судили потомки. Я начинаю его, чтобы, если со мной что-то случится, кто-то узнал правду.

Меня заставили вступить в «Тень» два года назад. Щербатов привёл. Сказал: «Это честь, поручик. Избранные служат России, пока остальные пьют и развратничают». Я поверил. Я был глуп. Я был молод. Я хотел быть избранным.

Первое собрание: особняк на Фонтанке, 72. Там были люди, которых я раньше видел только на портретах в газетах. Генералы, министры, даже кто-то из императорской фамилии — не буду называть имён, потому что если этот дневник найдёте не вы, а они, меня убьют сразу. Нас заставляли клясться на чём-то, похожем на Евангелие, но я не помню — это был не Христос, какая-то другая книга, на другом языке.

Потом начались задания. Сначала мелкие: собрать сведения о таком-то чиновнике, найти его любовницу, узнать, где он проводит ночи. Потом — крупнее: подбросить письмо, сфабриковать улики, шантажировать. А потом — убийство.

Я не убивал. Но я знаю тех, кто убивал. Я видел их лица без масок. Я знаю, кто заказал князя Шереметева. Я знаю, кто убил Анастасию Хованскую сто лет назад — не тот, кого обвинили, а тот, кто отдал приказ. Я знаю, где они собираются и когда. Я знаю всё.

Но если я скажу — убьют меня. И Машу. И её ребёнка. Я не могу рисковать ими. Я трус. Я это знаю.

Простите меня, те, кто читает эти строки. Простите за то, что не смог. Простите за то, что молчал.

Если вы читаете это — значит, меня уже нет. Или они нашли дневник раньше вас. Или вы сами — из «Тени». Я не знаю. Но знаю одно: правда сильнее лжи. Она пробьётся. Когда-нибудь. Может быть, не при моей жизни. Но пробьётся.

Александр фон Шток. 1909 год, октябрь».

Всеволожский закрыл тетрадь. Руки его дрожали — не от холода, от злости. От той особенной, холодной, въедливой злости, которая не проходит с годами, а только крепнет, как цемент.

«Тень» — не миф. Не выдумка княгини Шереметевой. Не бред сумасшедшей старухи. Реальность. Организация, которая собирается в Петербурге, убивает, шантажирует, подделывает документы, и никто — никто! — не может с ней справиться, потому что у неё покровители выше, чем у любой полиции.

Всеволожский спрятал тетрадь во внутренний карман пальто — туда же, где лежали чугунный ключ Анастасии Хованской, письмо княгини Шереметевой и скатанная в трубку карта с красными крестами. Три улики. Три нити. Три ключа к правде, которая могла его убить.

Он встал, подошёл к окну, выглянул на улицу.

Пески были серыми, пустынными, унылыми. Где-то внизу, у подъезда, стояла женщина в чёрном платке — торговка, наверное, с корзиной, полной яблок, которые никто не покупал. Рядом — старик с газетой, закрывавшей лицо. Чуть поодаль — двое в чёрных пальто.

Близнецы.

Они снова нашли его.

Всеволожский выругался, отошёл от окна, достал браунинг. Четыре патрона в обойме. Хватит ли?

Не хватит. Но выбирать не приходилось.

Он вышел из квартиры, спустился по лестнице, выскочил на улицу. Близнецы — за ним. Женщина с яблоками — за ними. Старик с газетой — за всеми.

Всеволожский свернул в проулок, перепрыгнул через забор, пробежал через дворы, выскочил на другую улицу. Сердце колотилось где-то в горле, рёбра болели, но он бежал — быстро, как в молодости, когда ловил воров на Лиговке и не боялся ни пули, ни ножа.

Близнецы отстали. Только один — тот, третий, в чёрном плаще — продолжал преследование. Он шёл ровно, не торопясь, как будто знал, что Всеволожский никуда не денется.

Всеволожский выбежал на набережную Невы, остановился, перевёл дух. Вода была чёрной, холодной, быстрой. По ту сторону — Васильевский остров, с его домами, мостами и тайнами.

— Хватит, — сказал он, поворачиваясь. — Выходи. Поговорим как мужчина с мужчиной.

Тень отделилась от стены — высокая, прямая, в длинном чёрном плаще. Но когда человек поднял голову, Всеволожский увидел не того, кого ожидал.

Это был Фогель.

Карл Карлович Фогель, управляющий усадьбой «Красный Бор». Седой, прямой, с бесцветными глазами, в которых не было ни страха, ни злобы — только усталость.

— Здравствуйте, Всеволожский, — сказал он. — Я знал, что вы придёте. Я ждал вас.

— Вы — из «Тени»? — спросил Всеволожский.

— Я — «Тень», — ответил Фогель. — Я её создал. Я её отец. Я её слуга. Я её жертва. Всё вместе.

— Зачем вы следили за мной?

— Чтобы спасти вас, — ответил Фогель. — От них. От меня. От правды, которая вас убьёт.

Он шагнул вперёд, и Всеволожский поднял браунинг.

— Не надо, — сказал Фогель. — Я не вооружён. Я пришёл поговорить.

— Говорите, — сказал Всеволожский, не опуская оружия.

— Пропаший поручик, — сказал Фогель, — жив. Я знаю, где он. Я могу отвести вас к нему. Но вы должны пообещать: вы никому не расскажете о том, что узнаете. Иначе он умрёт. И вы умрёте. И Надя умрёт. И Фома. И баронесса. Все умрут. Вы этого хотите?

Всеволожский молчал.

Ветер дул с Невы, холодный, злой.

— Ведите, — сказал он наконец.

Фогель повернулся и пошёл в сторону Малой Невы, к лесопилке, которая темнела на берегу, как гробница, открытая для нового покойника.

Всеволожский пошёл за ним.

Он знал: это ловушка. Но у него не было выбора.

Глава 7. Баронесса

Всеволожский вернулся к баронессе на следующий день, хотя всё внутри него кричало, что не надо этого делать. Не потому, что он боялся — он давно перестал бояться, — а потому, что чутьё, которое не подводило его двадцать лет, нашептывало: «Осторожно. Эта женщина — не та, кем кажется». Но дневник поручика лежал во внутреннем кармане пальто, прижатый к груди, и каждая строчка требовала выхода. Он должен был показать его баронессе. Должен был спросить, знала ли она о «Тени». Должен был понять, можно ли ей верить.

Её квартира находилась на Английской набережной, в доме, который когда-то принадлежал её деду — барону фон Штоку, остзейскому немцу, нажившему состояние на лесоторговле и железных дорогах. Здание было старым, екатерининских времён, с колоннами, с лепниной, с высокими окнами, выходящими на Неву. Всеволожский поднялся на третий этаж по широкой, мраморной лестнице, миновал швейцара в ливрее с галунами, который проводил его долгим, подозрительным взглядом, и остановился перед дверью с бронзовым номером «12».

Он постучал. Дверь открыла горничная — молоденькая, веснушчатая, в белом чепце и чёрном платье, с глазами, которые смотрели испуганно, как у зайца, который чувствует волка, но не знает, в какой стороне лес.

— Господин Всеволожский? — спросила она тоненьким голосом. — Баронесса ждёт вас. Проходите, я доложу.

Она провела его в гостиную — большую, светлую комнату с высокими потолками, лепными карнизами и мебелью красного дерева, обитой штофом цвета бордо. На стенах висели портреты — строгие предки в мундирах, с эполетами, с орденами, с лицами, которые, казалось, смотрели на Всеволожского с укором: *«Что ты здесь забыл, человек не нашего круга?»* В углу стоял рояль — чёрный, лакированный, с серебряными подсвечниками. На рояле — фотография в серебряной рамке: молодой офицер, похожий на баронессу, с теми же тёмными глазами, с той же линией губ. Брат.

Баронесса вошла через минуту. На ней было домашнее платье — сиреневое, с кружевным воротником и длинными рукавами, — волосы распущены, спадают на плечи. Без шубы, без шляпы, без перчаток она выглядела моложе, уязвимее, почти красивой. Но Всеволожский смотрел не на платье и не на волосы. Он смотрел в глаза. Тёмные, глубокие, с каким-то внутренним, затаённым огнём, который он не мог разгадать.

— Вы нашли что-то? — спросила она, садясь в кресло и указывая ему на стул напротив.

— Нашёл, — ответил Всеволожский, доставая дневник. — Дневник вашего брата. Я нашёл его в тайной нише за шкафом. Он писал о «Тени». О том, что его заставили вступить в это общество. О том, что он знает имена убийц. О том, что боится за себя и за вас.

Он протянул тетрадь. Баронесса взяла её, но не открыла. Держала в руках, смотрела на потёртый коленкорový переплёт, на чернильные пятна, на вырванные страницы, которые торчали неровными клочьями. И улыбалась.

Не той улыбкой, которая появляется, когда находишь надежду. Другой. Холодной. Расчётливой. Улыбкой игрока, который сделал ставку и знает, что выиграл.

— Вы даже не читаете? — спросил Всеволожский.

— А зачем? — ответила баронесса, откладывая дневник на столик. — Я знаю, что там написано. Я сама ему велела это писать.

Тишина стала плотной, как вода в пруду. Всеволожский слышал, как где-то на кухне звякнула посуда, как за окном прогудел пароход, как где-то в коридоре прошлёпали туфли горничной. Но эти звуки были далёкими, чужими, как будто из другой жизни.

— Вы не сестра ему, — сказал он. Это был не вопрос.

— Сестра, — ответила баронесса. — По крови. Но это не важно. Важно другое: он — член «Тени». И я — член «Тени». Мы оба. С детства. Нас воспитали в этом. Нас научили не бояться. Не плакать. Не любить. Только служить.

— Зачем вы пришли ко мне? — спросил Всеволожский, сжимая кулаки.

— Чтобы проверить, — ответила баронесса, вставая и подходя к окну. — Насколько далеко вы готовы зайти. Насколько вы опасны. Насколько вы умны. Вы прошли проверку. Вы нашли дневник. Вы связали нити. Вы даже не побоялись прийти сюда после того, как вас избили на лесопилке. Это достойно уважения. Но — бесполезно.

— Почему?

— Потому что мы сильнее, — она обернулась, и Всеволожский увидел её лицо — не то, которое было вчера, с болью и надеждой, а другое, манекенное, пустое, как у куклы, у которой вынули глаза. — Мы — государство внутри государства. У нас есть деньги, власть, связи. Вы — никто. Частный детектив, который ошибается в девяти случаях из десяти. Вы посадили невинного Соболева. Вы не раскрыли убийство в усадьбе Хованских — его раскрыла княгиня, а вы только подписались. Вы не нашли настоящего убийцу князя Шереметева — вы нашли козлов отпущения. Вы ничтожество, Всеволожский. И мы это знаем.

Всеволожский медленно встал. Кровь отлила от лица, но голос остался ровным, как струна.

— Вы лжёте, — сказал он. — Я нашёл правду. В усадьбе Хованских. В Красном Бору. И найду здесь. Даже если вы убьёте меня.

— Не убьём, — ответила баронесса. — Ты слишком мал для убийства, Всеволожский. Тебя даже в расход пускать жалко. Ты — букашка. Муравей, который пытается остановить поезд. Ты будешь ползать, искать, надеяться, а мы будем смотреть и смеяться.

Она засмеялась. Громко, истерично, запрокинув голову, обнажая длинную, белую шею. В этом смехе не было ничего человеческого — только металл, только стекло, только холод.

— Вы глупы, господин детектив, — сказала она, когда смех стих. — Мы знаем о вас всё. О вашей ошибке в Твери — знаем. О вашей бывшей жене, которая лежит в больнице из-за вас — знаем. О ваших кошмарах, в которых вы видите Алексея Соболева и просите у него прощения — знаем. Мы знаем, какой чай вы пьёте по утрам (чёрный, с бергамотом, три ложки сахара). Знаем, как часто вы меняете бельё (раз в неделю, но сейчас реже, потому что Надя в больнице, а вы сами не справляетесь). Знаем, сколько у вас патронов в браунинге (четыре, потому что два вы потратили на лесопилке, а купить новые забыли).

Всеволожский похолодел. Рука сама собой потянулась к карману, где лежал браунинг. Четыре патрона. Она была права.

— Уходите, Всеволожский, — сказала баронесса, отворачиваясь к окну. — Уходите, пока мы вас не убрали. Не потому, что боимся. А потому, что вы нам не интересны. Вы — отработанный материал. Мусор, который вынесли на помойку. И мы будем смотреть, как вы гниёте.

Всеволожский не двинулся с места.

— А ваш брат? — спросил он. — Где он? Что вы с ним сделали?

— Брат, — баронесса усмехнулась, — жив. Пока. Но если вы не прекратите расследование, он умрёт. И вы будете знать, что это из-за вас. Потому что вы не умеете проигрывать. Потому что вы лезете туда, куда не надо. Потому что вы — идиот, который верит в правду.

Она подошла к нему близко, почти вплотную. От неё пахло духами — «Сиракузы», как от Елизаветы Павловны, той самой, вдовы князя Шереметева. Тот же запах. Те же духи. Та же ложь.

— Прощайте, господин детектив, — сказала она. — Мы ещё увидимся. Но в следующий раз я буду не такой доброй.

Всеволожский развернулся и вышел. Не побежал, не пошёл быстрее, а вышел — ровно, спокойно, как выходят из чужих домов, когда поняли, что хозяева не ждали тебя в гости.

В коридоре, у дверей, стояла горничная — та самая, веснушчатая, с испуганными глазами. Она держала поднос с чашками и смотрела на Всеволожского так, как смотрят на приговорённого, когда он идёт на казнь.

— Берегите себя, барин, — прошептала она.

— Берегите себя вы, — ответил Всеволожский.

Он спустился по лестнице, вышел на набережную. Нева была серой, холодной, быстрой. По противоположной стороне шёл человек в чёрном пальто — близнец, тот, что повыше. Он не смотрел на Всеволожского, но Всеволожский знал: он всё видит. Всё слышит. Всё передаст.

Он закурил папиросу, выпустил дым в низкое ноябрьское небо. Пальцы дрожали — не от холода. Он только что проиграл. Не в драке, не в перестрелке, а в том, что важнее: в правде.

Но он не собирался сдаваться.

— Фома, — сказал он, когда вернулся в контору, — садись и пиши.

— Что писать, Василий Петрович?

— Письмо. В Тверь. Фогелю. Спроси, где он был в ночь исчезновения поручика. И — попроси у него список всех имён, которые он знает. Всех, кто в «Тени». Нам нужно их опередить.

— Опередить? — удивился Фома. — Нас же четверо — вас, я, Надежда Петровна и баронесса? А баронесса, кстати, на чьей стороне?

— Ни на чьей, — ответил Всеволожский. — Она — против нас. Но мы найдём союзников. Среди тех, кто тоже устал служить «Тени». Такие есть. Я знаю.

Он подошёл к окну, посмотрел на улицу. Близнецы стояли у фонаря — оба. И третий — в чёрном плаще — стоял чуть поодаль, у арки.

— Они ждут, — сказал Всеволожский. — Пусть ждут. Мы всё равно пойдём. Не сегодня. Но завтра.

Он вынул браунинг, проверил обойму. Четыре патрона. Слишком мало.

— Фома, — сказал он. — Сходи на Лиговку, к знакомому оружейнику. Купи патроны. Много. И принеси мне кофе. Покрепче.

Фома кивнул и вышел.

Всеволожский остался один.

Он сел за стол, достал чугунный ключ Анастасии Хованской, повертел в руках.

— Ты выведешь меня к правде? — спросил он шёпотом. — Или к смерти?

Ключ молчал.

Но Всеволожский знал: он всё равно пойдёт.

Потому что не мог иначе.

Глава 8. Старый друг

Вечер опустился на Петербург внезапно, как чёрная штора, которую кто-то невидимый сорвал с карниза и бросил на город. В шестом часу ещё было серо, но смутно, с надеждой на сумерки, а в седьмом уже наступила ночь — непроглядная, ноябрьская, с мелким снегом, который кружился в свете фонарей, падал на мостовую и таял, не успев добелить. Всеволожский сидел в конторе один — Надя осталась в больнице, врачи сказали, что последние процедуры займут до утра, — и перебирал бумаги. Дневник поручика, письмо княгини, карта с красными крестами, чугунный ключ Анастасии Хованской. Четыре предмета, четыре нити, которые вели в одну точку — туда, где пряталась «Тень».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.